



Из деревни

От Н*** С*** к М*** Р***

Как я хорошенько пораздумаю, то нахожу, что ты претребовательная в своей дружбе; этой дружбе, связанной так тесно с детства, ты вдруг пресерьёзно угрожаешь, если я не буду тебе присылать статей об моём житье-бытье в твой журнал. Мирная жительница деревни, обременённая большим хозяйством и разнородными заботами, живущая в уединении, я могла бы чувствовать потребность — писать, но, признаюсь, не понимаю, что ты найдёшь годного в моём писании для своего журнала; а мысли о печати даже как-то меня пугают, и я, несмотря на мои года, робею как девочка, впрочем, видно, быть по-твоему, я решилась и посылаю тебе в угоду, что написала. Истинная дружба не любовь, ты не будешь слепа, а потому я вполне надеюсь, что ты даже скорее меня самой увидишь, что во мне нет литературного дарования, — прочтёшь меня, как читала о сию пору мои письма, и отложишь всё в сторону без дальних последствий. Полагаясь на тебя, я этим сказала всё — делай как знаешь!

с. 329

I.

Не знаю, на всех ли деревня действует так благодатно, как на меня, а мне так кажется, что нет лучше жизни для людей некоторых лет. Тихо, уж как у нас тихо! Часто бывает и заботливо, и хлопотливо, — но это тишине не мешает, а напротив того, когда взволнуется слабостями житейскими наше всегда готовое на то сердце, деревенская тишина скорёхонько приведёт его в порядок — смотришь, буря утихла, а тишина тогда и наведёт на такое хорошее раздумье, что не раз ей спасибо скажешь. Живя в столице, в вечном вихре удовольствий и развлечений светской суеты, в кругу ли родных или хороших знакомых — оттого ли, что была моложе, оттого ли, что время взяло своё — не знаю, но я никогда, ничего подобного не ощущала! Мне так хорошо в деревне, что всем бы желала передать это чувство! Здесь как-то живёшь ближе к природе, ближе к труду, ближе к правде, тишина незаметно входит в нас самих и не убивает наши силы, как весёлые городские страстишки; уж я не говорю о пагубных страстях, — те просто уродуют всё! Деревня, освежая душу, точно её возрождает не по годам на всё хорошее! Словом, молодеешь, да и только! Рождается в нас какая-то небывалая любовь к ближнему, рождается небывалый интерес к народу, нашей меньшей братьи, как его называют; рождается в себе самой желание труда, а с ним бóльшая деятельность, и как земля весной жаждет воды, так мы видим, что нас окружающие ждут от нас, людей более или менее образованных, света просвещения, лишь бы он изливался без гордости, без излишних требований, с любовью к младшим, и наши меньшие братья, дети ещё по неведению, принимают тогда всё хорошее с благодарностию! Течёт так жизнь, день за день, мирно, спокойно, с сознанием в душе, что эта жизнь не бесполезна ни добру собственному, ни благу общественному, и понятно тогда, что ощущаешь чувство отрадное!

с. 330

Чувствительным лишением для себя считаю я здесь одно, это — совершенное отсутствие всякого искусства; артистов здесь уже, конечно, искать нечего, их нет! Можно найти много талантливых зародышей, но только в детях; с годами они гложут. Оно и понятно: негде им развиваться, и этот дар Божий с пылом молодого сердца переходит или в разгул, или в горячий труд, утомляющий силы до животного оцепенения; вспыхнет этот привлекательный огонёк

* Самсонова, Н. Ф. Из деревни / Н. Ф. Самсонова // Семейные вечера. Старший возраст. — 1868. — 15 июня. — С. 329—340.

иногда в задушевной песне, иногда в весёлом рассказе, но вот и всё! Груба ещё оболочка даровитого нашего народа, и нескоро ещё она обнаружит — сколько способностей под ней кроется! но это будет скорее, чем оно кажется. Я живу пять лет безвыездно в деревне и нахожу, что в этом отношении народ уже двинулся вперёд; головы некоторых из них почувствовали силу мысли, им любо делается самим, что они выходят из положения животного, что они становятся наряду с людьми мыслящими, что начинают жить новой жизнью, и хотя, конечно, не все сознают это благо одинаково, но я всё-таки верю — народ русский скорее, чем оно кажется, весь двинется к развитию.

Вот уже второй год как муж мой, живя в деревне, несёт должность мирового судьи; он занят с утра до вечера, народ полон к нему доверия; любопытно видеть, какие результаты даёт это прекрасное учреждение, особенно при добросовестном исполнении. Муж мой занимается своим делом с увлечением, и я понимаю это — радостно делается сердцу, когда чувствуешь, что с успехом развиваешь нравственную силу народа, которой уже, по мнению не только иностранцев, но и многих соотчичей, предрекали смертельный конец в нашем отечестве! Ещё донныне неприятно звучат у меня в ушах слова одной светской барыни, польки, что *Россия гигант на длинных, слабых ногах*; нет, не слабы ноги нашего народа, а когда почувствует он, что дышать ему свободно, то твёрдо ступит он на них и пойдёт вперёд не хуже других.

Как я припомню всё, что окружало нас, когда впервые приехали мы в деревню, — а это было в самое время объявления Нового Положения, или, лучше сказать, *свободы* нашему крестьянскому люду, — мне самой становится дивно, как могли мы так твёрдо перейти тогдашнее время, трудное для помещиков! Воровство, обман, грубость, пьянство, земли, брошенные всюду, совершенное отсутствие прислуги — вот чрез что проходили все! Прошло несколько лет, и вот мы в той же деревне, с тем же народом живём тихо, дружно: о кражах не слышно, грубости и в помине нет; полевое хозяйство, брошенное тогда, разводим снова и в довольно большом размере; есть руки, есть прислуга и работники — дело двинулось опять, и двинулось на лучшем основании, потому что лучше обдуманно, лучше рассчитано; не существует более дарового труда, который во зло употребляли обе стороны, не существует в крестьянах неприязненного чувства к помещику; в нашей местности, по крайней мере, оно решительно уже исчезло, и если труд не всегда исполняется так добросовестно, как бы следовало, всё же, в сравнении с тогдашним временем, прогресс уже огромный! Я приписываю эту перемену благодатному действию новых судебных учреждений, но нельзя не сказать, что ярко высказывается в ней и здравый, природный ум народа, обещающий поставить его на твёрдые ноги!

с. 331

Слово *свобода*, как чад, временно отуманило его; удешевление вина, случившееся в самое опасное время какого-то общего брожения — и оно не нанесло ему того ужасного зла, которого мы могли ожидать при его невежестве; напротив того, гласный суд сразу пришёлся ему по душе, как ни строго карает он его за проступки, так недавно считавшиеся ничтожными; преподавайте в школах грамоту их детям так, чтоб видны были их успехи, и школы будут полны учеников; всюду здравый ум, добрая, хорошая природа приходят ему на помощь и помогают ему становиться твёрже на ноги; и при всём его невежестве ясно чувствуется его самостоятельность, а эту черту в характере народа нельзя не уважать.

В нашем кругу меня всегда огорчал недостаток огромный, принадлежащий почти всей нашей среде, это — какое-то космополитство, которое Бог знает отчего прививается нам почти с грудным молоком: мы носим на себе печать всех наций, не замечая сами, до чего это смешно; нас это забавляет, когда, напротив того, должно было бы быть обидно для самолюбия. Вероятно, незаметно для нас эти идеи переходят к нам от наших иностранных наставников и наставниц, которыми окружены мы бываем с малого возраста. Надо надеяться, что теперь приходит для нас время отрезвиться от этого недостатка; русский ум и нам придёт на помощь, и мы почувствуем, что мы все дети одного отечества.

II.

И смех и горе бывает подчас в наших хозяйствах; — горе потому, что невозможно иногда не рассердиться, но зато частёхонько и рассмеёшься от души.

Мой скотный двор крайне меня занимает; выстроен он отлично, даже роскошно, потому что мы обратили в скотный двор бывший когда-то манеж с принадлежащими к нему конюшнями; здание каменное, огромное, светлое, потому что с большими окнами — скотине стоять в нём славно, а мне самой наблюдать за нею очень удобно, — вот я и хожу частёхонько на неё

поглядывать. В бывшем отделении конюшен отстроены телятники для телят всякого возраста, и за этой мелкой скотинкой ходит баба. Она старушка очень неглупая, даже лукавая, была когда-то, верно, красавица, а поэтому сохранила что-то не совсем натуральное в своих движениях; старые глаза быстро ещё бегают, не останавливаясь ни на чём, точно ей всегда отчего-то совестно, а худощавые маленькие её руки так и виляют. Забавно мне бывало видеть её в телятнике: принесёт телятам пойло и начнёт им наговаривать такую чепуху, что и передать её невозможно: то примется целовать одного, то строго журит другого, то уши выдерет третьему, чтобы проучить не сосать уши товарища. Меня это смешило всегда, однако я сознавала, что дело могло бы идти и без этого; впрочем, останавливать её не находила нужды, и хотя замечала, что она особенно усердствовала в моём присутствии, но служба её всё-таки некоторое время приносила пользу; все 40 моих маленьких тёлочек благоденствовали под её попечением. Обстоятельства потребовали моего отсутствия на месяц из деревни — возвращаюсь и нахожу, что весь порядок моего телятника изменился, — старуха не исполняла своей обязанности, как следовало, вследствие чего тёлочки хворают; одну из них, мою любимицу, тотчас же надо было напоить особо, отделив от других, одним словом, сделать некоторые распоряжения, которые я не без неудовольствия передала Катерине. Вчера прихожу в телятник и опять нахожу не то, что следовало. Катерина шла за мною.

— Что это? — говорю я ей с досадой. — Опять тёлку поили не из той лохани? Опять у ней лежит сено, а не клевер?

— Матушка ты моя, родимая ты моя, уж, кажется, стóраюсь, божусь, стóраюсь (она говорит на о, как все владимировцы) — ведь они малые бессловесные, ну уж как мне и не стóраться-то, — ну, кажется, и Бог-то меня накажет!

— Совсем я не об этом, Катерина, а зачем ты дала тёлке сено, а не клевер?

— Да я, матушка, стала довать сено Красотке, а Душка только что напилась, ведь Душка солоща больно...

— Да не о Душке и не о Красотке идёт речь, — говорю я ей, уж с некоторым нетерпением.

— А вот слушай, что я тебе скажу, — говорит мне вдруг Катерина самым таинственным голосом, подняв глаза к небу, уставив их в одно место и разводя своей худощавой рукой в воздухе, — право, вот ты послушай: тебя, моя матушка, дома не было, вот мы подоили с Потаповной да и несём молоко в укупную — вдруг видим, над самым скотным двором, на небе-то, так, во все стороны, жёлтые, да красные, распрекра-асные, полосы — большие, распребольши-ие такие, и всё над скотным, так-таки, над самым скотным...

— Ну, а потом что? — говорю уже я ей нарочно спокойно, желая узнать, чем она кончит.

— Ну, я и говорю Потаповне: видишь? Да, вижу, говорит, вижу, Катеринушка, да что это? А то, говорю, Божья сила, Потаповна, Божья сила! А нехорошо, над самым-таки скотным — вот что, мать моя родная, понимаешь?

— Понимаю, понимаю, — с откровенной улыбкой отвечаю я ей: — это значит, что ты в скотницы не годишься — вот и всё, и надо искать другую!

Она продолжала держать глаза к небу, поражённая, что её болтовня привела к такому неожиданному результату; я ушла со скотного двора, а она всё глядела на небо и искала красных полос, предвещательниц, что тёлка будет есть сено, а не клевер. Надо сознаться, что такая прислуга частёхонько вредит делу хозяйства, и надо с нею немалое терпенье, хотя она скорей смешит, нежели сердит; ну, как же не забавно, что эти люди хотят непременно нас морочить, принимая за каких-то глупых ребят — не оттого ли, что в былое время господа ничего не делали и не понимали, а прислуга этим пользовалась?

III.

Сегодня утром, рано утром, часа в 4, я вышла из дома. Что за благодать весеннее утро в деревне! Не опишешь того, что оно даёт душе — так хорошо! И люди копошатся всюду, и скотинка — где двигается медленно, а где и подпрыгивает, и рожок где-то слышно, и птички чирикают да порхают, а уж жаворонки — так и заливаются! Всюду жизнь, но она так величественно-спокойна, что невольно скажешь себе: что я? Так ли я пользуюсь всем этим пространством, которое судьба раскинула на таком протяжении, сказав тебе: оно твоё, цени его, тебе даётся собственность, богатая собственность, чтобы она не оставалась для всех бесплодной — и глядишь на эту неизмеримую даль, и говоришь себе: «Точно, стыдно мне будет, если не найду в себе ту силу, которая умеет всё двигать на благо общее!»

И вот с таким-то чувством шла я по дороге к полю, мысли сменялись мыслями, душа хотела многого, рассудок отвергал почти всё, нашёптывая: «Тише, тише, не заходи далеко, не желай лишнего, прежде учись, у всех учись, и дело вернее пойдёт вперёд». Чудная, право, способность мыслей! Куда они ни забегают, чего ни коснутся, особенно когда, беседуя с природой, душа полна! Вот так и чувствуешь, что не угнаться за ними, и не переделать всего того, на что они наведут!

С тех пор как управляющий, воспользовавшись нашим доверием и незнанием дел, злобно ограбил нас, разорив совершенно, пришлось работать самой; пришлось войти во все тонкости полевого хозяйства, которого никогда я не знала, но благодаря нескольким умным книгам довольно скоро поняла, и это пространство большого имения, которое так пугало меня сначала, оно-то и стало меня выводить из затруднительного положения, в которое была я поставлена, чувствуя на своих плечах обузу большого, не бездоходного, но лишённого рук барского имения! Кипела моя голова от желаний поставить как можно скорее своё хозяйство на образованную ногу, — не было конца моим желаниям, а стеснённые обстоятельства препятствовали во всём! Рядом с книгами помогла мне рутинная, но верная опытность хороших хозяев-мужиков; их опытному совету обязана я, что не завлеклась привлекательным развитием иностранных хозяйств, а дошла помаленьку, не затрачивая капитала, подвигаясь, как рак, но только не назад, а вперёд.

Оставив себе на время самую маленькую запашку, я стала раздавать земли под яровое, ещё когда земля лежала под снегом. Мне нужны были деньги, и хотя я понимала, что отдача под яровое ежегодно, как истощающая почву, будет доходом непродолжительным, не рассчитывала, что сила хорошей земли вынесет несколько посевов, пока я помаленьку запасаясь всем, что мне нужно для разведения большого хозяйства.

Когда стаял снег и подходило время паханья, я ужасно озабочивалась этою раздачею, и именно то поле, к которому я шла теперь, было разбито когда-то на десятины, но борозды до того уже запахались, что отдавать каждую десятину отдельно было трудно.

Как поэтично ни была настроена моя душа от чудного утра, но когда я поравнялась с полем, меня сразу так и обдало этой заботой. «Время терять нечего, — подумала я, — лучше тотчас марш назад», — и вернувшись домой, — я позвала своего старого приказчика.

— Алексей Васильевич, — сказала я, — не теряя время, вели заложить мою таратаечку, позови старика Хазова, потом кого можно из ребят, возьми цепь, колошки и поедем разбивать поле сами; где нам ждать землемера, его и за 20 вёрст не найдёшь.

Менее чем в 10 минут таратаечка, хоть и четырёхколесная, но очень маленькая, стояла у подъезда, запряжённая рабочей почти белой лошадкой с невозмутимой физиономией!

Помощник мой, то есть старик Алексей Васильев, — личность хорошая. Он служил в Преображенском полку ещё вместе с мужем в польскую кампанию 1831 года, в отставке давно, был, вероятно, в своё время преобразенец лихой, но теперь просто очень высокий и неуклюжий старик, прост умом, но безукоризненно честен, а мне это-то и нужно, и хотя не особенно хорошо знает хозяйство, но я к нему питаю уважение, а он имеет доверие к юным моим познаниям, и дело у нас идёт помаленьку. Старик Хазов, тип совершенно другой; это — бывший дворовый человек богатого помещика с слабыми, но всё-таки некоторыми познаниями землемера; седой, глухой, с пониженной всегда от усердия головой и сильной уверенностью в свои достоинства; он старается выказать себя как выходящую из общей колеи личность, а потому и в голосе, и в манере его есть преувеличенная вежливость. Кроме этих двух лиц, девочка и два или три крестьянских мальчика, всегда готовые погулять, да ещё и получить за то какую-нибудь подачку — вот и вся компания, которая должна была меня сопровождать. Я не без смеха засела в свою таратайку, Васильев взял вожжи; Хазов, трясаясь от старости, с трудом взобрался с ним рядом, ребяташки с колышками и цепью прильнули — кто на подножке, кто на запятках, воодушевляя вместе с Васильевым разными возгласами неповоротливую кобылку.

Приехали на место, сошли. — Что это? — говорит поражённый Хазов, — ни одной межи не сохранили? Бывало, на самом этом поле нас семь человек стоит, да посматривают, чтоб пахали мужики правильно, ведь мужичье неучи, нельзя не глядеть за ними!

— Уж где нам семь человек начальников иметь, и одного-то свободного в прошлом году не было, — говорит Васильев.

— Меньше семи никогда не стояло, — продолжает Хазов, разводя руками с удивлением и не слышав ни одного слова, сказанного Васильевым.

— Да где нам их взять? — громче, и даже почти крича, говорит Васильев.

— Семь человек стояли, бывало, любо смотреть, а это что? Взглянуть неприятно!

— Я тебе говорю: и одного не было, пахали мужики как хотели, нам было довольно дела и без этого.

— Семь человек! — с некоторым восторгом продолжал вспоминать опять Хазов, не обращая никакого внимания на речь Васильева, — это было дело, порядок: так и видно, что пашут барское поле!

При этом воспоминании старик видимо выправился; бывшее время рисовалось так привлекательно в его памяти, что скромная моя обстановка отбивала у него охоту приниматься за работу, и он стоял в недоумении! Я наконец громко рассмеялась и прервала их рассуждения.

— Нечего делать, мой любезный Хазов, — говорю я, — надо мириться со временем, прошла та пора! Мы и с мужика теперь будем требовать, чтоб сохранял межи, и не будем ставить перед ним семь начальников, а дело будет сделано, и даже это лето, ты увидишь, я приведу межи в порядок без всякого начальника.

Хазов качал головой с недоумением.

— Кажется, не бывать этому, ваше превосходительство! Как это можно, где этого добиться от наших мужиков, ведь мы этот народ знаем, с детства около него обращались, вы всё по-иностранному, ваше превосходительство, нагляделись за границей, думаете, и здесь, да ведь здесь не то...

Я велела детям раскинуть цепь, поставила первый колышек и начала измерять десятины, не внимая рассказам Хазова. Пустив дело в ход, я села опять в свою таратайку и не без улыбки глядела на моих работников.

«Да, прошло время, — думала я, — и слава Богу, что прошло! Межи мои будут у меня сохранены, это — наверно, а не увижу я семи привлекательных для Хазова дармоедов!» Правда, из меня, помещицы нового времени, человек с талантом легко мог бы нарисовать в эту минуту слабую карикатуру. Я понимала, что, несмотря на прекрасное освещение утренних лучей, лежащихся такими чудными, тёплыми оттенками на нас всех, мои старики оба бестолковые, рабочая лошадейка, дети и барыня-землемер со стороны показались бы смешными для многих, но я философка в этом отношении. Я насладилась дивным утром, потом — сделала своё дело, сегодня же твёрдо покажу каждому мужику его место, и у меня на сердце такое хорошее чувство!

с. 335

IV.

— Мужичок из Савельева вас спрашивает, — сказал мальчик, наш маленький слуга, войдя в гостиную, — он было к барину пришёл, да узнал, что его дома нет, так с вами просит посоветоваться.

Я вышла в прихожую. Вижу, стоит молодой мужик необыкновенно высокого роста, видный такой из себя, и весь в слезах.

— Что с тобой? — спрашиваю.

— А вот какое несчастье приключилось, будь ты мне мать родная, прикажи задержать овсянников.

— Каких овсянников и зачем?

— Расспроси их сама.

— Да что такое?

— А вот что — приехали ко мне сегодня овсянники покупать овёс на семена, хорошо, купили, сошлись полюбовно, дело кончили, садимся за стол обедать, я и косушечку им поставил — выпили; и хозяйка с нами тоже, как быть, обедала, а посяв обеда, как уж стали из стола вставать, моя хозяйка вдруг как закричит, кричит, кричит, без умолку кричит! Я, перепугавшись, из дома вон, прямо к Евлентию Петровичу: пусть их задержит.

— Да овсянники в чём тут виноваты?

— Испортили, должно быть, мою хозяйку, испортили чем-нибудь, матушка, уж поверь, что так — а разве можно им в эфтом волю давать, пусть Евлентий Петрович по закону рассудит!

— Полно, мой голубчик, быть этого не может — ну, постарайся рассудить сам, зачем бы им твою жену портить?

— А Христос их знает, матушка, кажется, и дело-то покончили с любовью и по-хорошему, и сердца аль злобы какой супротив хозяйки и не оказывали ни в чём...

— Ну, с ней так что-нибудь случилось, может быть, в животе боль какая.

— Нет, нет, животом здорова, боли никакой не сказывает, а только немилосердно кричит; тётка Фёкла артусу принесла, — не давайте мне, кричит, не приму.

— Да отчего?

— Бог весть, родимая, от артуса её так и откидывает.

При этих словах я покачала головой с неудовольствием.

— Вот ты не веришь, что от дурного человека порча бывает, а я тебе говорю, что наверно бывает.

— Бог с тобой, что ты говоришь, — это вздор какой-нибудь, — сказала я ему уже совершенно успокоительным голосом, — как артусу не проглотить, это она у тебя просто пустяки делает, поезжай-ка лучше домой, скажи ей от меня, что тут порчи никакой быть не может, да сам будь муж, а не баба, не плачь, глядя на неё; ведь ваши бабы при малейшей боли из себя выходят, часто с пустяков у них и крики, и припадки разные бывают; у нас такое расстройство называют нервной болезнью, а вы думаете — порча какая.

— Помилуй, матушка, да я с ней шесть лет проживаю; баба тихая, хоть всю деревню допроси — такой оказии срода не выдывал.

с. 336

— А велика ей лучше святой водицы выпить да артусу проглотить, да посади её в тележку, да покатай на чистом воздухе.

— Я и так, матушка, как она, вставши-то из-за стола, грянулась об пол да кричать начала, я спужался, её на двор и вытащил; при ней наша девочка махонькая была, и та покатила, я и к ней, а тут матушка-старушка, и та, вышедши из избы, наземь пала, а я один, растерялся совсем, кликнул баб соседок, да сам и побег — овсянники ещё на их были, я их задержал да и сюда с ними.

— Да не угорели ли твои бабы? — спросила я.

— Почитай что угорели; ну, оно и так, да старуха матушка и девчонка скоро оправились и не кричали, как хозяйка, — продолжал недоумевать крестьянин.

— Ступай себе домой с Богом, — продолжала я, — овсянников отпусти, а бабе своей скажи, что завтра она будет здорова, а когда завтра увидишь, что точно здорова, ты пожери её хорошенько, скажи ей, что и руки, и ноги по нужде отнимают, и то не кричат, а кричать от угара совсем не след, да и стыдно бабе: сама ведь виновата, что печи не присмотрела как следует; ведь вы могли бы умереть ради того, что точно все безносые, не чувствуете угара; перед овсянниками повинись, ведь ты их обидел дурным помыслом — надо извиниться.

Мужик успокоился, низко поклонился, сказал «спасибо» и вышел на лестницу, где его ждали овсянники. Дверь была полуоткрыта, и я слышу, — что сказала? — спрашивают его. Его хозяйка говорит: порчи нет, а велит ещё перед вами повиниться. Ну, то-то, — совершенно спокойно отвечают овсянники, — мы ведь сами тебе говорили, ну, вези, представь начальству, пусть по справедливости рассудит, а мы неповинны; так-то, лучше мы тебе поднесём; ты нас угощал дома, а мы тебя здесь.

И отправились дружки по направлению к кабачку.

Ну, как же не сказать, что народ этот — совершенные дети! Поистине добрые дети, легко принимающие всякое впечатление, но зато легко забывающие и дурное. Этот случай, конечно, доказывает, что мужик, о котором шла речь, должен быть прост, но надо было видеть, с каким радушием встретили его на лестнице овсянники, и как чистосердечно они ему простили его дурной помысл и ещё радовались, что он успокоился.

Женщины в крестьянстве меня поражают; редкая из них не потрясена нервами — вследствие чего, не умея обуздать себя, не понимая даже действия нерв, они истолковывают его по-своему, и часто впадают в самые необыкновенные положения, непонятные для всех их окружающих. Прибегают тогда к молитвам, соборованию или разным нашёптываниям, а болезнь между тем проходит своим чередом, как она пришла!

V.

Славно устроена у мужа его судейская! Большой его кабинет состоит из трёх комнат, соединённых между собою широкими арками вместо дверей; одна из этих комнат его присутственная; здесь на возвышении он заседает в своих креслах; вторая, против него, наполняется народом во время судопроизводства, а третья, собственно его кабинет, расположена сбоку и отделяется от тех четырьмя колоннами, из-за которых с потолка до полу висит толстая, пёстрая из войлочного ковра драпировка. Вот за ней-то я и присутствую частёхонько при

его суде как невидимка, соболезнуя чистосердечно, что я не стенограф и не умею передать в точности характеристичные выражения нашего народа. Не все имеют дарование схватывать на лету оборот их речей, а потому стенографы оказывают большую услугу обществу, и я часто сожалею, что лишена возможности записать верно, что слышу, сидя с своей работой за драпировкой; иногда не могу воздержаться от смеху и ухожу из комнаты, удивлённая, как может судья сохранить свою серьёзность. Сегодня, например, шло дело о каком-то воровстве, в котором уличена была молодая женщина, не то крестьянка, не то дворовая; трое мужиков взводили на неё обвинения и доказывали свои подозрения; несчастная часто перебивала их речь, причём судья останавливал её неоднократно и наконец грозил оштрафовать. Делать было нечего: пришлось замолчать, и она терпеливее стала ожидать своей очереди. Наконец и ей дано было слово.

— Слышали музыку? — вдруг проговорила она, обращаясь к судье.

— Какую музыку? — не без удивления спрашивает судья.

— Да, музыку, спелись хорошо, дружно, нечего сказать! — продолжает она, указывая на своих обвинителей, — а что вы думаете, г-н судья, они шампанское пили? — ничуть, такую же сивуху, как и я!

При этих словах я невольно подумала, как трудно было мужу воздержаться от смеха.

VI.

Судейская была полна народа — шло одно дело за другим, с девяти часов утра до пятого, и всё время одна какая-то жалкая баба сидела между зрителями; наконец народ стал видимо убывать, судья готовился уже сойти со своего возвышения, как эта баба, вся оборванная, лицо всё опухлое, в синяках, перешла за решётку и с каким-то отчаянием, раздражённым и отрывистым голосом говорит:

— Ну уж, как ты хочешь — а я к нему не пойду!

— К кому это? — спрашивает удивлённый такой выходке судья.

— Девай меня куда знаешь, а к нему ни за что не пойду, ребёнка грудного бросила, а к нему не пойду, — продолжала бедная женщина с каким-то ожесточением.

— Успокойся, сперва успокойся, — уговаривает её судья, — ну, скажи теперь: к кому не пойдёшь, и кто тебя так избил?

— Муж!

— Да за что же?

— Не знаю.

— Быть не может, чтоб не знала, — что ж, он был в пьяном виде?

— Нет.

— Что ж, ты ему больно перечишь?

— Нет, я за ним, за вторым, спроси родню первого-то, тебе скажут, как я с ним жила.

— Так за что же?

— А спроси.

— Ну, пожалуй, я его вызову.

— Вызови, а к нему не пойду, убьёт!

— Да ведь у тебя грудной ребёнок?

— Ребёнок, — а не пойду, здесь буду ждать.

— Да здесь негде, лучше вернись домой; я ведь вас только послезавтра могу судить, как же твой ребёнок без тебя будет?

— Как знает! У меня и молока нет. Узнает, что к тебе ходила, как увидит, право, убьёт; уж он такой, Бог с ним!

— Да где же тебе приютиться?

— На селе у кого из милости попрошу, а домой не посылай, не пойду.

— А в волостное правление ходила?

— Нет, не ходила.

— А зачем?

— Нича не рассудят, а вина потребуют.

— Это вздор, не смеют вина требовать, сходи в волостное правление.

— Не пойду, никуда не пойду, куда хошь меня девай.

— Однако теперь нечего делать, надо идти отсюда, ступай — куда знаешь, а приходи послезавтра, я и мужа вызову, слышишь?

Баба стояла как каменная.

— Слышишь? — повторил судья, — мужа вызову.

— Боюсь, право, боюсь, убьёт, здесь убьёт!

— Не бойся, не убьёт, здесь у меня ничего с тобой не будет.

— Вызовите их на послезавтра, — сказал муж письмоводителю, выходя из судейской.

Жалкое впечатление сделала на нас эта женщина, и хотя, конечно, муж мог легко её отправить в волостное правление, но отослать её туда было бы всё равно, что отказать милостыню несчастному; мне кажется, что наш народ, как я его ни люблю, ещё молод для самоуправления; а потому и волостной суд везде идёт дурно; народ к нему не имеет доверия, и суд совершенно не достигает своей цели.

В назначенное число явились все, то есть просительница, ответчик, сельный староста и пришли три свидетеля; постараюсь записать, как шло дело.

Рядом с знакомой нам бабой, за решёткой перед судьёй стоял её муж, молодой совсем парень, правда; на вид гораздо моложе и красивее своей жены.

Судья. На тебя твоя жена приносит жалобу; ты её так избил, что она бросила грудного ребёнка и пришла ко мне за двадцать вёрст...

Мужик молчал.

Судья. Ты признаёшь ли эту жалобу, то есть ты сознаёшь ли, что удары, которыми изуродована эта женщина, нанесены тобою?

— Так, верно, точно я, — отвечает мужик робко.

Судья. А за что же ты мог её так бить?

Мужик. Ни к какой, сударь, работе не пригодна, надо было учить! Дам муки — хлеба испечь, не умеет: ведь своего добра жаль.

Судья. А её не жаль?

Мужик. Так, думал, учить надо.

Судья. Да кто ж тебе дал право её бить?

Мужик. А коли она всё хорошее, по слабоумию, что ли, портит!

Судья. А ты чего смотрел, как женился? Зачем же ты её за себя взял, когда она, по-твоему, слабоумна? Она ведь с первым мужем жила хорошо?

Мужик. За то и взял.

Судья. Так разве побоями приучишь к делу? Да что такое жена? Ты подумал ли об этом! Жена должна быть тебе другом в жизни, — ты должен её любить, беречь, а ты что делаешь? Да какой закон дал тебе право её бить? Жена ведь — не скотина какая в твоём доме! Она мать твоего ребёнка, а и к скотине-то закон не велит быть бесчеловечным, а ты смеешь обходиться так с законной женой!..

Судья, замечая, что слова его падают на хорошую почву, красноречиво продолжал доказывать ему всё безобразие его поступка и наконец стал советовать мужику покаяться перед женой.

— Я ведь вас развести не могу, — говорил судья, обращаясь к бабе, — всё, что я могу сделать, это то, что, признавая его виновным в самоуправстве, я накажу его арестом; но будет ли из этого толк? Просидев определённое время, он всё-таки возвратится к тебе и будет ещё более злобен противу тебя, как через тебя пострадавший! Лучше всего простите вы друг другу взаимные оскорбления, помиритесь чистосердечно и живите в миру и согласии, не ссорясь, а уступая один другому; вы оба люди молодые, жизнь ваша впереди долгая, и сами после порадуетесь, что послушали моих советов и увещаний.

— Нет, нет, — перебила баба, — горяч больно. Как с твоих глаз уйдём, опять бить будет.

Судья. Нет, баба, нет! Я за него поручусь, уж если он мне слово даст, так сдержит, не правда ли? — спрашивает он мужика.

— А вот как! — решительно отвечает тот, — Вот крест и Евангелие — сам от себя присягу принесу!

И в тот же момент он быстро приложился к лежащим вблизи от него Евангелию и кресту.

— Обещаю, — проговорил он, — что больше никогда моих побоев она не увидит! — И, совершив эту добровольную присягу, он поклонился до земли мировому судье.

Судья. Что ты мне кланяешься? Ведь ты оскорбил не меня.

Крестьянин тотчас понял смысл этих слов и, не думая долго, встал, оборотился к жене и со слезами повалился ей в ноги. Такой неожиданный и, быть может, небывалый в крестьянском быту поступок мужа мгновенно и окончательно смягчил сердце оскорблённой крестьянки; она

с рыданием сама бросилась на колена, кланяясь мужу в ноги, так что головы их сошлись; потом, вставши, они обнялись и так искренно поцеловались, что поистине нельзя было равнодушно смотреть на эту семейную сцену.

Как трогательно и вместе весело было видеть их чистосердечно целующимися перед сидевшим на креслах судьёй, да ещё полной комнатой народа! Всё это делалось просто, искренно, а потому и было трогательно для всех, и я трепетала от удовольствия и благодарила за силу новых узаконений!

VII.

Какой чудный бывает иногда наш народ! Какое смешение добра с невежеством! Не сразу разберёшь, что бывает двигателем их действий — и как при такой грубой оболочке выказывается в нём иногда такое утонченное, деликатное чувство!

Откровенно говоря, в моих частых столкновениях с народом я никогда очень фамильярна не бываю с крестьянами; я скорее даже чувствую в себе, при всём моём к нему хорошем расположении и горячем желании добра, — какое-то барство (иначе и назвать его не умею), которое я в себе победить решительно не в состоянии, да и не нахожу ещё и нужды; это во мне не гордость, мне её иметь не следует, да, кажется, я её и не имею, — а что-то такое, что происходит невольно, вследствие того, что моё развитие выше их развития. Я не думаю, чтобы во мне это было именно грешное чувство, и мне сдаётся, что, напротив того, оно народу не бесполезно, потому что учить его держать себя не нараспашку, чего я ужасно боялась сначала, при моём горячем стремлении глубже изучить его природу. И что же? Ни малейшее с моей стороны — не только действие, но и чувство не осталось непонятым ими, и как ни груба и не невежественна внешняя оболочка их природы, она не помешала им читать ясно в моём сердце; всё, что я им ни пожелала из глубины души, отозвалось мне удовлетворительно. Не говорю уже о чувстве благодарности, необходимом в каждом человеке, если ему делают добро существенное; поэтому-то, изучая нравственную силу народа, я надеюсь на хорошее его будущее. Но я отклонилась совсем от начала. Я принялась писать с улыбкой на устах и при выходе из моей комнаты одной бабы нашего села. Степанида Малышева слывёт здесь хорошей и дельной женщиной; и когда она пришла сегодня ко мне, мы принялись с ней толковать обо

с. 340

льне; потом она вдруг говорит мне шёпотом (я уже совсем не понимаю — отчего шёпотом), — а ведь у меня, матушка, до тебя просьба, ты нам, бабам, не откажи, мы вчера промеж себя толковали, а я им сказала, что буду тебя просить.

— Да об чём?

— А вот об чём, — говорит она с самым нежным выражением лица, — напиши ты нам свой лик.

— Как так, — зачем?

— Всему селу будет хорошо, — все мы того желаем, — ты к нам милостива, и мы за тебя будем Бога молить.

— Молитесь, молитесь за меня, грешную, отвечала я ей, — всегда за то спасибо скажу, но мой лик-то зачем?.. Что вам в нём?

— Да уж больно желательно всем.

В это время меня позвали, и я не успела допросить, что это у них была за идея. Бабы уже не было в доме, когда я вспомнила о их желании иметь *мой лик* в селе; я обратилась с вопросом к одной старушке, бывшей дворовой женщине, живущей у меня: не слыхала ли она что об этом?

— Как же, отвечает она, — слыхала, были толки, точно.

— Какие же?

— Уж если желаете знать, так я вам скажу, вот как было: на днях умер у нас в селе солдат Гусев, вы его и не знавали. Он хворал две недели, и хворал как-то странно: с ним недуг вдруг приключился — схватился он за ногу, от боли стал вдруг кричать, потом эта боль перешла в левый бок и почти уже до конца жизни не утихала; отойдёт на минуту, а там опять как подступит к сердцу, так бедняга места не находит; вскочит, говорят, за перекладу схватится одной рукой, да так и висит! Народ невежественный, как вы знаете, стал говорить: порча над ним, стали все к нему ходить в избу, да смотреть на него, а он всё слабее да слабее, да по принятии святых таин и совсем почти уж перед концом говорит: «Здесь благочестивых никого нет, знаете, православные, благочестива только одна, наша барыня».

И когда рассказчица передавала последние слова умершего, у ней затряслись губы и она стала глотать слёзы.

— Всё же я не понимаю, зачем тут мой портрет?

— Ну так вот, ваше превосходительство, им показалось, что всем на селе будет приятно, если у кого ваш портрет будет находиться.

Таким образом, как я ни добивалась, но и она верно не могла передать мне, какая могла существовать связь между умирающим на селе солдатом и общим желанием иметь *мой лик*, но я непременно доищу и разберу это.

Статья опубликована без подписи, атрибуция очевидна из темы. — *Ред.*